Ночевала тучка золотая

Автор:
Анатолий Приставкин

Ночевала тучка золотая

Анатолий Игнатьевич Приставкин

Дорогие ребята!

Представляем вам повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».

Она рассказывает о детдомовских подростках времен войны.

Это очень правдивая история о времени, когда дети рано взрослели, но вопреки страшным и жестоким обстоятельствам не теряли способности радоваться жизни, дружить, помогать другим.

Эта повесть – призыв писателя к справедливости, ответственности взрослых за судьбы детей, который должен услышать каждый.

Анатолий Игнатьевич Приставкин

Ночевала тучка золотая

Посвящаю эту повесть всем ее друзьям, кто принял как свое личное это бесприютное дитя литературы и не дал ее автору впасть в отчаяние

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер.

Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмосковье говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи-Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьмёнышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, оставшуюся от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!

Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно было родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты, корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, – вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как Господь Бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьмёныши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, – хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, – вот о чем мечталось! Глазком чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И – вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах…

И все. Все!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!

Но, как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантасмагорической картины, которая возникала в головах

братьев Кузьминых, – запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем… Любым.

В эти особенно тоскливые месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.

Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завыть, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно… Накажут, изобьют, убьют… Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе… Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует… И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильней.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко…

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух

еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей: если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!

С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще, стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя – побледней, победней, потоньше – месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьмёнышей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьмёныши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьменышей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьмёныши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрей. А уж четыре глаза куда острей видят, когда надо ухватить где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тяпнули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлеборезки! Говорили же: чего, мол, хлеборезку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьмёнышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый – шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата, как вьюны, верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.

Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут…

Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться… Без надежного плана: как, где и что стырить, – трудно прожить!

Две головы Кузьмёнышей варили по-разному.

Сашка, как человек миросозерцательный, спокойный, тихий, извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точней: взять жратье.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: «А зачем? Можно спереть и поближе…»

Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьмёныши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось – кроме почты и телеграфа да вокзала – и хлеборезку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлеборезки братья, не первый раз кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

«Ох, как жрать-то охота… Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» – так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если… Если ее… Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну конечно, копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче если он детдомовец, отрастивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились прямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлеборезки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлеборезки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда здесь хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьмёныши знали: тут прятался солдат, дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом:

– А не далеко?

– А откуда ближе? – в свою очередь спросил Колька.

Оба понимали, что ближе неоткуда.

Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлеборезки, не одним Кузьмёнышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь – ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили, да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять – автогеном если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет!

Другой же вариант – совсем отказаться от хлеборезки – Кузьмёнышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож – собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьмёнышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.

Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлеборезке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб – он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлеборезке».

Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь – известь была вытерта до кирпича, – Кузьмёныши приступили к реализации своего невероятного плана. В этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они – четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка. Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьмёныши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую, школьную, приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день – Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же – второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тот по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать и вдвоем в столовку как на приступ шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьмёныши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадется.

2

Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильней повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида… («Инвалида умственного труда!» – произносилось негромко.)

Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьмёныши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленно, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне, и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут… В пустыню превратят! В Сахару!

Так думали Кузьмёныши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой – в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьмёныши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздулись. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем – Сашка догадался, – и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоти.

Оба Кузьмёныша сидели отвалившись, потные, чумазые, коленки подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

– Ну, что Кавказ? Трепятся?

– Трепятся, – отвечал Колька.

– Погонят, да? – Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: – А тебе не хотелось бы? Поехать?

– Куда? – спросил брат.

– На Кавказ!

– А чего там?

– Не знаю… Интересно.

– Мне интересно вот куда попасть! – И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлеборезка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить – и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай – да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.

Но видеть видели, издалека конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком – такой опытный глаз-ватерпас у нее – на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее

тысяча, мильон этих талончиков с цифирьками 100, 200, 250 граммов.

На каждый талон, и два, и три – только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то – высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая – такое богатство, что и подумать страшно!

Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб, хлеб…»

В такие минуты братья не роют, не дураки небось. Направляясь мимо железных дверей в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит.

Как доберутся Кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда… Знали братья твердо, что случится тогда.

В две головы продумано небось, не в одну.

Бухарик – но один – они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не моги. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика – это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.

Часть для дурака повара: о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около хлеборезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают… Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обидят, других обделят. Только и всего.

Кому надо-то, чтобы комиссии от роно поперли (а их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрел в сторону, куда указывал Колькин кулак.

– Не-е… – произнес он задумчиво. – Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они небось выше нашего дома торчат? А?

– Ну и что? – опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

– Сегодня стишки учили, – вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. – Михаил Лермонтов, «Утес» называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»… Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил:

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана…

– Про Кавказ, что ли? – скучно поинтересовался Колька.

– Ага. Утес же…

– Если он такой же дурной, как этот… – И Колька сунул кулаком опять в фундамент. – Утес твой!

– Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи… Поешь ли, читаешь – все одно о жратве думаешь. Голодной куме все куры на уме!

– Ну и чего? – вдруг спросил Колька.

– Чево-чево? – повторил за ним Сашка.

– Чего он там, утес-то? Развалился аль нет?

– Не знаю, – сказал как-то по-глупому Сашка.

– Как – не знаешь? А стихи?

– Чего стихи… Ну, там эта… Как ее. Туча, значит, уперлась в утес…

– Как мы в фундамент?

– Ну, покемарила… улетела…

Колька присвистнул.

– Все??

– Все.

– Ни фига себе сочиняют! То про цыпленка, то про тучу…

– А я-то при чем! – разозлился теперь Сашка. – Я тебе сочинитель, что ли? – но разозлился не сильно. Да и сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы размером с их детдом, а между ними повсюду хлеборезки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел – а тут другая хлеборезка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют. «Якши», – говорят. Или еще как! А смысл один: «Ешь, мол, больше, у нас хлеборезок много!»

Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался – отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти! – И после паузы: – На Кавказ!»

Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьмёнышей на другую, лучшую жизнь.

Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.

А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза – что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки!

И – догадались, мама родная. Да ведь это же подкоп!

Под их кухню, под их хлеборезку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлеборезки прошли и внутрь, там, где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели:

«Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом да вспомогательными средствами… А дети… Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».

– Они у меня еще те чудотворцы! – сказал хмуро директор. – Но я этого кудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьмёныша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время, не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче – и два места освободилось.

Конечно, Кузьмёнышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться, да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться – поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и

не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов… Вот тех, о которых этот… который приезжал, говорил».

На что Колька отвечал, что фрукт – это и есть картошка, он точно знает. А еще фрукт – это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт… От войны за детишками спасается!»

– Картошки наедимся! – сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон читал в книжке, что саранча куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем…

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отправили.

В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при коптилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком. Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем.

Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьмёныши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: «Без завтрака, без обеда, без ужина!..»

Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургузый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

– Так-то лучше… – И добавил: – Ну, тово… Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит… А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разноголосо пропели:

– Не будем Вик Виктрыч!

– Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтобы директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьмёнышей они стоили многого.

Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.

Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.

3

Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме.

Звали его Петр Анисимович.

Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положил этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше.

– Это ведь непонятно что происходит, – вздохнул он.

А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой, – наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она была…

Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам.

К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь…

Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет, нет. Не могу».

А один раз вспылил, закричал:

– Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно что происходит! У меня полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! – При этом он указал почему-то на Кузьмёнышей.

Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали.

Повсюду, где они проходили, высовывались уже из окошек головы.

Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе ошивались, по кутузкам, где отсиживали…

Кузьмёнышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:

– Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать – дерьмо клевать!

Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и немедля бросились к окну, всовывая свои головы между чужими.

Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались, и вслед за остальными загикали, засвиристели кто во что горазд.

– Люберецкая вошь – куд-да-да пол-зешь, под кровать…

Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских, подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут – и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских, орехово-зуевских…

Но хуже всех – московских.

Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные.

Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке.

Заревели, завыли, заблеяли, замычали.

Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев.

– Мытищинские – через забор дрищенские!

– Эй, Можай, дальше поезжай!

– Кашира – протухла, не жила!

– Орехово-Зуево – раздето-разуево!

– Коломна всегда голодна!

Нас побить, побить хотели

Загорские ежики,

А мы сами не стерпели —

Наточили ножики!

Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке.

Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле.

А ведь было, когда загорские подкараулили дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, заехавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу – выловили дмитровского в электричке и к кресту на кладбище на ночь привязали: орал как резаный! Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик!.. Наоборот, прохожие бежали подальше.

Бывали шутки и похлеще между колониями и детдомами разных подмосковных городков, и стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов…

А теперь вот всех, всех совместно жизнь-злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе – поезде. Такая бурная реакция произошла, что казалось – эшелон раньше срока разлетится вдребезги!

Слава богу, что у него не один, много вагонов!

Смешивалось не сразу, а полегоньку, так бы ни одно железо не выдержало. Потасовки кой-где произошли, и кто-то, правда, дорогой, сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд... Не без этого.

К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать: найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того – лежать.

Как и сделали наши Кузьмёныши.

Внизу, под их полками, тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял… Поднимался крик, вмешивались взрослые.

Постепенно улеглось.

Разместили на одну нижнюю полку по двое, валетом, заполнили на ночь и место на полу, в коридоре и между полок.

Кузьмёныши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез – высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь.

А если кто совался к братьям снизу, посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят! Ничего вы тут своего не оставляли!

Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу.

Разговорчики, смешки, анекдотики… Кто-то песенку запел: «На Кавказских на горах жил задрипанный монах, он там золото искал, никого не подпускал, вот он золото нашел, продавать его пошел…»

Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным: вагон дернуло!

Все затихли. Слушали. Верили и не верили: неужто тронулись, поехали?

А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, клацнул, железом заскрежетал – и правда поехал! Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам.

Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже, в прошлое, назад, в темноту.

Да плевать всем было! И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит!

Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которой не поверят, слезу пустить.

Кто-то из девочек пропищал: жалко, мол…

– Чего жалко-то?

– Уезжать жалко.

А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные – люди железные…

Господи! Да пропади пропадом, задарма этот неуютный, немытый, проклятый, выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать… А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах…

Что же касается Кузьмёнышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой… Ни здесь и нигде вообще!

Друг у друга они есть – вот это будет верно.

Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша – это они сами.

Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.

По военной – по пустыне – надо сказать.

Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем… А прольется ласка да внимание живой водой – прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит.

Нет – значит, не было. Значит, не надо.

Это не только о Кузьмёнышах – о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем бесшабашно, безумно веселом поезде!

Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени, и попытался через десяток лет отыскать.

Открыточки, такие желтенькие, с запросом на адресные столы сотню, не меньше, разослал – и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца ни от одного нашего…

И вот уж печатаюсь двадцать пять лет, и фамилии те, не скрывая, намеренно выношу в своих рассказах, в повестях, очерках, и снова – ни словечка в ответ.

Страшная мысль: неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгинули, затерялись? Не проросли?

Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит, из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли…

Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в торбочки, в мешочки, загашники и извлекли оттуда съестное.

У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в печеном виде. У одного – даже каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу… А еще – роскошь – серенький тошнотик. Из мороженых очистков их делали да отбросов.

Тошнотики, тошнотики, военные блины,

Раз поешь тошнотики – полные штаны!

И вдруг… Кишки от этого «вдруг» защипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду… И по тем самым кишкам – будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!

Суки москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!

Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой, – обнищавшее Подмосковье в голос!

Несправедливо про всех, конечно. Да ведь со стороны, из-за лесов казалось, что тут, в столице, у товарища Сталина под боком, который с Мамлакат на коленях в книжке нарисован, жратвы-то от барского стола поболе остается! Не успели пузатые, похожие на ихнего директора, все разокрасть! Иначе откуда бы, подскажите, шепните на ушко, баночка-то колбасная, золотистое солнышко, посверкивающее внизу?

О такой колбасе наши Кузьмёныши только по рассказам и знали! Да вот еще по запаху: дважды в жизни Сашка унюхивал этот незабвенный, ни с чем не спутываемый, секущий финкой под ребро запах и по ощущению пересказывал Кольке…

Как в байке про куриную лапку… Мол, вкусна куриная-то лапка, а ты ее едал, да нет, не едал, а только видал, как наш барин едал.

Теперь оба, как в темный колодец, где поблескивало звездочкой, смотрели вниз. Да не одни братья – все небось смотрели! И слушали, и принюхивались, когда еще доведется в жизни такое почувствовать! И понюхать!

А потом, как по команде, оба брата отвернулись и поглядели друг на друга. Оба знали, кто из них о чем думает.

Сашка подумал: рот бы себе чем заткнуть, чтобы не закричать, не зареветь от голода на весь вагон! Не про банку, хрен с ней, с этой недосягаемой мечтой-банкой! А про директора-суку из Томилина, которому велели, письменно, это уже

по чужим разговорам стало ясно, дать им хлебный и прочий паек на пять суток! О чем он, падла, сидя тогда на ступеньках и почесывая прыщавые подмышки, думал, где его плюгавенькая совесть была: ведь знал, знал же он, что посылает двух детей в голодную многосуточную дорогу! И не шевельнулась та совесть, не дрогнула в задубевшей душонке ни одна струнка!

Примите же это, невысказанное, от моих Кузьмёнышей и от меня лично, запоздалое, из далеких восьмидесятых годов, непрощение вам, жирные крысы тыловые, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны…

Владимир Николаевич Башмаков – так звали одного из них. Он был директором Таловского интерната, и владел нашими судьбами, и морил нас голодом…

Ну, где ты, наполеончик, с коротенькими ручками и властным характером, обожавший накрутить очередному воспитаннику несколько смертельных суток.

– Без обеда, без ужина, без завтрака, без обеда…

И душа сжималась от ноющего предчувствия, слыша приговор: сколько раз обернет он этот список голодным поясом вокруг тебя!

Оба Кузьмёныша вынули по кусочку выданного им хлеба. Крошечные сейчас уж совсем, от которых еще дорогой отщипывали – и дощипались: словно мышиная говяшечка на ладони.

Колька понюхал, языком лизнул, предложил:

– Хочешь?

– А ты?

– Да я с утра обожратый, – сказал Колька. А сам подумал: если Сашка два кусочка съест, то ему сытнее будет. А на ночь так больше и не надо есть, а то вся сытость во сне пройдет как бы без пользы.

Сунул Колька свой кусочек Сашке, а сам отвернулся. Запах колбасы сживал со свету, разворачивал разрывной пулей все нутро.

Хоть бы не скребли, гады, ложкой-то по жести, от этого звука судорога начиналась в животе, будто это тебя, тебя – как банку – ложкой выскребают.

Взвыть захотелось Кольке! Грызть деревянную полку, на которой лежал! Уткнулся он лицом в сухие доски, голову зажал, чувствовал: что еще немного – и плохо ему будет. Закричит, заревет зверем на весь вагон, так его скрутило от чужого праздника. Да и Сашке, видать, не легче. Он кусочек Кольке назад вернул. Глядя загнанно в потолок, произнес ненавидящим шепотом:

– Только б до завтра дожить… Как встанет поезд…

Колька подхватил, как выдохнул:

– На ры-нок! Эх!

Рынок для обоих означало, что смогут они худо-бедно, но пережить эту дорогу.

Москвичам, что попались в попутчики, отвалили пай на несколько суток. Да, видать, еще и родня подбросила съестного. А у Кузьмёнышей лучшая родня – это рыночные тетки, которые свой товар плохо сторожат.

– Я тут одну штуковину придумал, как это завтра обтяпать, – сказал Сашка и почесал в голове. Там, в глубине, в неведомых потемках, рождались у Сашки самые замечательные идеи.

– Сделаем, – зло произнес Колька. Как отрубил. И было обоим понятно: они сделают все, что придумал Сашка. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь!

Поезд дернулся и встал.

– Это чево? Это Воронеж?

– Хрен догонишь! – отвечал другой голос снизу.

Братья, как по команде, проснулись, уставились в окно. На сереньком фасаде масляной краской коричневой было выведено: «ВОРОНЕЖ».

Слышали Кузьмёныши – на пути такой город будет. Но не город их интересовал – рынок у вокзала. Оба покатились с полок на головы пацанвы, что толкалась внизу и глазела в окно. Братья протиснулись в тамбур и наткнулись на усатого коротконогого проводника в грязно-синей военной форме железнодорожника. За голенищем сапога два флажка торчат. Уже волочет что-то в мешке, усы от напряжения вспотели, глаза выкатились.

– Дянька, стоять долго будем?

Проводник оттеснил их грудью в конец тамбура, бросил мешок с глухим стуком. Повернулся, расправляя плечи. Посмотрел.

– Вам-то чево надо?

– Рынок, – сказал Колька. С надеждой спросил, не зря же мужик мешок приволок. С картошкой мешок, по виду определил. Надо этот мешок не упускать из виду.

– Ха! Рынок-то за вокзалом, – пробормотал проводник и рукой махнул в сторону выхода. – Да гляди не опоздай! Поезд стоять долго не будет! Как один гудок даст, дак и чеши… А второй – уже тово… поедем.

Кузьмёныши переглянулись.

Оба подумали: хорошо, что не будет поезд долго стоять. Им и не надо, чтобы он долго стоял. Чем быстрей пойдет, тем лучше. Для них лучше. А уж они все наперед продумали и про себя, и про свой поезд.

За длинной стеной, кончавшейся полуразрушенным зданием вокзала – небось бои тут жестокие шли, – открывалась площадь, полная народу. Перескакивая через битый кирпич, через траншеи с водой, братья, подобно десяткам других пацанов, вскачь кинулись к рынку.

Вонзились в него с разбегу, как вонзается кинжал в свою жертву.

При входе, как всегда, семечки в мешках да веники вязаные. А дальше вглубь овощи пошли: картошка, свекла, репа, огурцы… Овощей-то, пожалуй, побольше, чем в Подмосковье, и молока побольше, его прямо в стаканах с румяной пеночкой выставили. Варенцом прозывают. Кричат протяжно: «Ва-ре-нец! Кому-у ва-ре-нец!» Тетка им вслед кричит. А кричит потому, что у Кольки из кармана красная тридцатка выглядывает. А там за тридцаткой и еще какие-то бумажки синеют… Без тридцатки тетка бы и не заметила их, да и уж точно – милком не назвала. Мало ли шантрапы ходит!

В том-то и была Сашкина затея, чтобы на весь рынок торчала из кармана драгоценная тридцатка, а рядом напихали обрезков из пачки папирос «Беломорканал»… Поди разгляди с ходу-то, пачка и пачка, и видно по тридцатке, что деньги торчат.

Конечно, братья рисковали. Натуральную-то тридцатку напоказ выставлять опасно, свой брат жулик мог бы легко поживиться! Но и это было учтено. Колька барином идет, тридцатку демонстрирует, а Сашка сзади караулит, глаз с нее не спускает, оттирает, если кто прицеливаться да приближаться станет.

Кругом гомонила толпа. Семечки лузгали. Вся земля в лузге.

Рядом завизжали: кого-то поймали, значит, бьют.

Эта картина братьям не внове, сами попадались и тоже орали как резаные, смотришь – кто-нибудь да вступится. А молчком терпеть – так и голову оторвут за личную за собственность и не пожалеют.

Может, кто из своих, из эшелона, орал, но братья скорей в другую сторону свернули. Слишком тут бдительные сидят!

Шагов с полсотни сделали и уперлись: вот оно! Вот где оно лежит, что искали!

На плоском дощатом прилавке, не в центре его, откуда не выскочишь, а с краю, на тряпочке выставлен ржаной, домашней выпечки хлеб, аккуратно порезанный на равные округлые ломти. А рядом и вовсе чудное, белое, длинное, – Колька увидел, будто споткнулся на ходу. Уставился завороженно.

Сашка его легонечко в бок шуркнул:

– Чево, как баран на новые ворота-то… Батон это! Белая такая булка, в кино показывали…

Прошептал, а у самого в горле как кусок глины завяз – ни проглотить, ни выплюнуть. А все этот чертов батон, который перед глазами у них маячил.

Видел Сашка в одном довоенном кино: будто прямо на улице булочная стоит, а кто-то заходит и покупает вот такое белое… И говорит: «Батон, мол, купил!» Неужто не понарошку продавали? Да без карточек! Да прям целиком!

Огляделись братья, лишь бы не опередили их. Не набросились бы покупатели на это расчудесное добро. Но нет. Никто не хватает, денежки не сует… Раз-другой приценятся да отвалят. Видать, дорог хлебушек-то, лежит нетронутый, ждет богатых хозяев, сияет на весь белый свет золотой корочкой, что по гребешку неровным шовчиком идет.

А запах от него! За сто метров услышали бы братья этот запах, может, оттого и вышли сюда, что голодный желудок, как пчелку на сладкое, на хлебный дух их привел?

Помолились братья про себя. Так попросили: «Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, Господи, тех, у кого мошна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схавать… Ты же видишь, Господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим… Да и жрать охота, Господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!»

Может, и не те слова были, но за смысл ручаюсь, а за искренность тех молитв – тем более.

Теперь братья поделили работу свою так: один лицом к поезду оборотился, другой – к батону и хлебу, а там еще рядом мед в сотах кусками лежит…

Вот они где нужны, четыре глаза-то! И все Сашкина шалая голова на голодное брюхо придумала! Спиной к спине, и тридцатку не свистнут, и все вокруг видно, а сигнал дать – лишь локотком двинуть.

Сашка услыхал – прогудел паровоз. Сипленько, тягуче, словно позвал к себе: «У-у-й-е-д-у-у!»

От-то и есть сигнал к действию. Как труба архангела, зовущая наших героев начать правое дело.

Теперь вперед! Только вперед! К батону – чуду-юду, к ржаным округлым ломтям, к меду в кусках, возле которого роятся нахальные осы… Но прежде к золотому родимому хлебушку! Скорей, Колька! Скорей!

Двинул Сашка брата острым локтем под ребро. «Шуруй», – прошептал.

А Колька чуть выше, поприметнее бумажки с тридцаткой высунул – и прямиком к прилавку. Знает: минута или две у них в запасе, не более. Придвинулся к прилавку, покрутился так, чтобы денежки его стали заметны, спросил:

– А тут чево? – именно тем проходным тоном, когда ясно, что ничего тут стоящего для него нет. Так, ерундовина всякая.

Молодая деваха, голубые стеклянные глаза навыкате, как пуговицы, в небо уставились. В ширину больше, чем в высоту, выросла. Сашка бы сейчас нашелся что сказать: «Ширше прилавка свово». Ишь расперло, на каких таких харчах, как не на рыночных, ее откормили до такого свинства?

Рядом мужичишка, чахлый в сравнении с ней, задавила небось, мяса в ней пудов сто будет.

Все это пронеслось в Колькиной голове, как легкий сквознячок, в то время как он нехотя, с недовольной миной хлеб оглядывал.

– Носят тут всякое… – процедил он и посмотрел вдаль, сейчас дальше пойдет. – Тут ничего стоящего не видать.

Девка семечки лузгает, равнодушно отплевывает в сторону. Работает, строчит, как пулемет все равно. Но и ее задело.

– Всякое? – спросила она, даже лузга повисла на нижней губе. – Это тебе всякое? – сунула под нос Кольке батон.

Колька вроде уж уходить хотел, но задержался, взял батон в руку, и от пружинистой корочки, от дурманящего запаха вдруг подступила к горлу тошнота.

– Из отрубей, что ли? – спросил он и поморщился. Не любит, сразу видно, когда суют ему всякую всячину из отрубей.

– Сам из отрубей! – вспыхнула деваха. – Батон пшанишный! Глядеть надо лучше!

А Колька и правда глаза закрыл, вот-вот его вывернет наизнанку. Как начнет он блевать вот тут, на глазах у этой сдобной девки, так кранты всем их планам. Вот ведь загвоздка! Все продумали, каждое движение загодя предусмотрели, а тошноту от голода, спазмы в кишках забыли, не учли.

Мотнул Колька головой, вдохнул побольше воздуха и еще вдохнул. А напоказ – ручкой ко рту, будто зевок сделал. Натурально даже вышло, позевывает малый, скучно ему тут стоять, смотреть на какой-то чахлый батон, который якобы не из отрубей.

– Ну и почем? – спросил, небрежно отодвигая тот батон в сторону девахи. Но не настолько далеко отодвигал, чтобы не забрать снова.

– Сто пятьдесят.

– А меньше?

– Чево меньше? Ты посмотри! Чистая пшаница!

– Сто, – буркает Колька, махнув рукой. Видел, мол, я твою пшеницу. Грош ей цена в базарный день.

– Сто сорок, – говорит деваха. И опять строчит свои семечки.

– Сто двадцать, – бросает Колька и собирается уходить. Уже шаг в сторону сделал, на деваху, на ее батон он не глядит. Неинтересно.

– Сто тридцать, – кричит вдогонку деваха. Веер семечек изо рта.

– Ладно, – нисходит Колька, возвращаясь и хлопая по карману так, чтобы снова стали видны его деньги. – В ущерб себе, учти!

Взял батон, стал засовывать в тот же карман с деньгами. А чтобы не дать пухлой купчихе опомниться, сразу на хлеб пальцем:

– А это – почем?

– Кусок – тридцатка! И мед – тридцатка! – деваха заработала губами, лузга полетела во все стороны.

– Беру! Хоть обдираешь ты меня как липку! – лихо произносит Колька, вдруг развеселившись, и сразу два ломтя сует в тот же карман, где уже лежит батон. И, не дав девахе прийти в себя, тут же еще два куска меда сует за пазуху.

– Эх, где наша не пропадала… Все беру! Все!

Деваха будто смекнула что-то, семечки отставила, глаза-пуговицы уставила на Кольку:

– Плати! Ты че, лапаешь да лапаешь! Плати, говорю!

А мужичишка при ней, дремавший до сих пор, вздрогнул от крика жены, озирается. На его глазах продукт национализируют, а ему бы только ворон

считать.

Вот он – второй критический момент! Когда все взято и надо красиво смыться. Как сказали бы в сводке Информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.

Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамая. В школе проходили. Мамай, ясное дело, – толстозадая пшеничная деваха…

Монголы-татары стали теснить русских – деваха крикнула вторично:

– Плати! – и ухватила Кольку за рукав. – Плати давай!

В это время и приказал волынский воевода Дмитрий Боброк выступить засадному полку и нанести по фашистам решающий танковый удар.

Как черт из-за печи, вынырнул рядом Сашка.

– Скорей! Скорей! – закричал, чтобы сильней оглушить торговку. – Поезд уходит!

Колька головой вертанул, и деваха невольно вслед за ним посмотрела: поезд, их поезд, медленно трогался в путь.

Поскрипывали, будто разминаясь, колеса. Гомонилась пацанва у дверей, запихиваясь вовнутрь.

– Бегом! – еще громче, внося панику, грохнул Сашка. – Потом… Потом отдадим!

Деваха сразу пришла в себя. В Колькин рукав вцепилась намертво.

– Когда потом? Сейчас плати! – И взвизгнула: – Ден-ги!

– Отдай деньги-то! – закричал Сашка. – А то – останемся!

– Да они же под батоном!

– Давай сюды батон!

Схватил Сашка батон, а там еще и хлеб мешает. Начал Колька под хлебом искать, дернул руку, мол, руку-то отпусти, как же я достану?

Отпустила деваха руку – Колька и рванул. А Сашка с батоном давно летел к поезду.

Так это все выглядело: впереди Сашка с батоном, потом Колька, а по его пятам пшеничная деваха и ее муж.

Деваха раскалилась до того, что Колька ее тепло спиной слышал.

Не до смеху ему было, хоть дева ширше своего роста, а шпарит так, что не отстает, и страшно ему. Догонят – убьют. Эти уж точно не пожалеют. Тут и другие торговцы подхватили, для них гон воришки – развлечение. А бить – так и вовсе душу отвести…

Крик на весь базар:

– Держи-и! Укра-а-а-ал!

Весь эшелон в окна выставился. Тоже зрелище, как в театре.

Подмосковные ребята —

Жулики-грабители:

Ехал дедушка с навозом,

И того – обидели-ли!

Из всех пятнадцати вагонов, из ста окошек пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток. Крик, хохот, рев, визг, подначки. Кто во что горазд:

– Эй, Воронеж, хрен догонишь!

– А догонишь – хрен возьмешь!

– Эй, мужа, гляди, потеряла!

– Не баба – паровоз! Выпусти пар, а то взорвешься!

– Может, ее к поезду – вагоны толкать?

– Буфера велики!

Кто-то модную песенку заорал, ее подхватили: «Поезд едет из Тамбова прямо на Москву, я ляжу на верхней полке и как будто сплю… Пари-ра-ра! Держи вора!»

Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном счете решал народ. Сашка первым подбежал к своему вагону, ухватился за поручень, оглянулся.

Колька поскользнулся, выронил кусок хлеба, который держал в руке. Нагнулся подобрать, второй уронил.

А деваха, грозя в окна кулаком, уже топочет рядом с Колькой. Вот-вот ухватит. А сзади мужичишко. А какой-то парень из добровольцев потеху себе устроил. А там еще, еще бегут…

– Брось! – закричал Сашка изо всех сил. Отчаянно, на весь Воронеж. – Брось! Брось! Брось!

Колька растерялся, но уже дыхание над собой услышал! Не дыхание, а шипение будто, скрежет и лязг: не меньше как танк на него наезжает!

Чуть не на четвереньках, на руках и ногах запрыгал, за лесенку руками схватился, а уж деваха его за ноги тянет.

Сашка и проводник вцепились в Колькины подмышки, рвут к себе, а деваха к себе, растягивают, как гармошку. Орет, голосит, визг поросячий! И парень рядом…

Рванули бедного Кольку, так рванули, что осталась у девахи в горсти Колькина штанина.

А парня, что подоспел и руки протянул, проводник флажками по морде да сапогом добавил.

– Не лезть! – закричал. – Шелгунщиков не пущаем! Ха! Спекулянты несчастные! Ме-шоч-ники!

И снова полетели в них из окон банки-склянки, а кто-то попытался мочиться на ходу…

Под улюлюканье, под насмешки поезд набирал скорость.

«Па-ри-ра-ра! Де-р-жи вора-а!»

5

Батон кормил Кузьмёнышей долго. Нутро они выгрызли до крошки, до пылинки вылизали и съели. А вот форма…

Жесткая корка стала им сосудом, ее берегли. Волшебным сосудом, если посудить. От нее, по Сашкиной идее, пользу можно было взять двойную, тройную, пятерную!

На станциях, на крошечных полустанках со своим пустотелым батоном и неизменной тридцаткой, которая торчала у Кольки из кармана, они подскакивали к рыночным теткам и просили налить в батон сметанки, или ряженки, или варенца.

Потом между братьями разыгрывалась маленькая шумная сценка: один из них начинал кричать, что дорого, а поезд отходит…

Молочное выливали, а то, что впиталось в батон, выскребывали ложками. Ложки брали у москвичей.

Но и батон оказался не вечен, как все не вечно в нашем мире.

Корочка постепенно истончилась, подмокла, и на какой-то несчитанный день после Воронежа кормящий сосуд распался на мелкие кусочки. Их, не без сожаления, тут же съели.

Кончился и мед. Во время Колькиного бега он растекся за пазухой, пропитав рубаху и Колькин живот. С рубахой, с той было просто: ее обсосали, обжевали в несколько приемов, вылизали до дыр.

А вот свой живот Колька трогать не дал. «Эдак и без рубахи и без живота останешься» – так сказал.

Ходил по вагону, а вокруг него вились осы. На первых порах нижняя пацанва так их и различала: Колька – это тот, который сладкий, а Сашка – по контрасту, значит, горький.

Клички бы сохранились, но сами Кузьмёныши, любившие морочить окружающих и выдавать себя друг за друга, быстро всех запутали, особенно когда медовый запах пропал. Это выработанный годами способ самозащиты. Снизу кричали:

– Эй, сладкий! Хватай батон, станция сейчас будет!

А Колька отвечал:

– Это вы ему скажите! Он – Колька! – и указывал на Сашку.

Они и местами менялись, и одежду друг друга надевали. Смысла в этом и видимой пользы не было будто бы никакой.

Окружающим без разницы, кто из них что носит и кто где спит. Но братья-то знали, очень даже знали, что это пока все равно. А случись неприятность, криминальная история, так важно сбить с толку окружающих, тем самым запутать след…

Как прежде они поступали…

Но братья смотрели сейчас не назад – вперед!

А скоро другие запахи стали реять по вагону, подавив все остальные: и меда, и пота, и мочи. Поезд въехал в так называемую по-школьному «зону черноземья».

Удивить видавшего виды беспризорника нелегко. Но вдруг открылось, что было для глаз непривычно: земля тут и в самом деле черная.

Без деревьев почти, без лесов и березок там разных, лежит бугром до горизонта, а цвет ну такой черный, как черны ноги у каждого уважающего себя шакала из детдома.

Грачей, что садились на эту землю, нельзя было различить! Паровоз и тот затерялся!

Еще удивляло: без присмотра, без сторожей растет на этой черной земле всякий фрукт и овощ. Какой – издали на ходу не разберешь. Вот если бы чуточку потише, если бы притормозило где!..

Но поезд, как назло, все мимо, мимо проносил, все чесал, шпарил как угорелый…

И уж молились в вагонах: миленький, ну встань на секундочку… На чуточку, нам бы по морковинке, по свеколке только… Притормози, призадержись, ну чего тебе, родненький паровозик, стоит!

И вдруг – встали.

Может, их молитву услышали? Может, силой мысли пар остановили – посреди полей?

Замедлил эшелон движение, зашипел и замер.

Машинист, молчаливый старик с короткой шевелюрой, буркнул, обращаясь к кочегару:

– Баста. Будет нашей ораве тут кормежка. На два часа запри пар да подай кипятку, чаи гонять будем!

Весь состав, тыща гавриков, кроме разве самых малых, да самых несмелых, да еще больных, высыпали из вагонов посмотреть, отчего встали. Но некоторые без промедления ринулись в поле, в придорожные огороды – к зеленеющим невдалеке грядкам – и стали рвать.

Сперва это делали самые дерзкие, самые пронырливые. Остальные стояли и смотрели.

И вдруг, что-то сообразив, все бросились вперед. Будто дикая орда понеслась к зеленым посевам и разом собой их накрыла.

Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленях, как жучки в траве, мельтешила, суетилась, перебегая с места на место, ребятня.

Он долил в жестяную огромную кружку кипятку и, подняв дрожащими руками и пригубив осторожненько, добавил:

– Россее не убудет, если детишки раз в жизни наедятся…

На поле же творилось невообразимое. Каждый шарапал как мог. Тащил все, что попадалось под руку. Обрывали молодую еще, в молочных зернышках, никогда не виданную кукурузу. Зубами от плетей отгрызали крошечные тыковки, их жевали, не сходя с места, будто яблоки, вместе с кожурой. Остальные с плетями выдергивали и тащили к поезду.

Огурцы, морковь, молодую свеклу совали за пазуху и в рот, отплевывая черную, на вкус пресноватую землю. Крутили головы незрелым подсолнухам в желтом цвете, а если не хватало на это сил, выдергивали с корнем и так, будто дрова в охапке, волокли к вагонам.

Порой попадались овощи такие несуразные! Колька нахватал под рубаху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука. Но сожрали, не пропадать же добру!

В такой необычный, скажем, момент произошла встреча Кузьмёнышей с Региной Петровной.

Братья несли свою добычу и ни о чем не помышляли, только бы запихать все на верхнюю полку да успеть сбегать и принести еще.

Надо сказать, работали они руками и зубами одинаково. Оба успевали на ходу откусывать от шляпки подсолнуха сладковатые сочные семечки, пережевывать их и выплевывать в траву.

А женщина стояла у входа в их вагон.

Сашка даже рот открыл от удивления, и оттуда вывалилась белая непрожеванная каша из недоспелых семечек. Да и Колька опупело, сам не свой, уставился на нее. Такая это была неожиданная женщина.

Молода, наверное, молода, темноволоса, густые небрежные волосы небрежно откинуты назад. Глаза у женщины были черные, посверкивающие изнутри, непонятно какой глубины и обволакивающей теплой ласки; и губы – это были крупные, живые губы, они жили как бы сами по себе и ничем не были замазаны, что нравилось братьям больше всего. Голову свою она держала высоко, как держат только богини и царицы.

Так увидели ее оба брата. И сразу влюбились. Безнадежно на всю жизнь.

Но этого они друг другу не сказали. Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них.

Да и нравилось Кузьмёнышам в женщине разное.

Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно когда она смеялась. Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шахерезады, которую он видел в книжке восточных сказок.

Но это не сразу. Все это было осознано ими потом. Сейчас же братья застыли перед ней, будто увидели около вагона не человека, а спустившегося с неба

ангела.

С раздутыми пазухами, торчащими на полметра, с руками, занятыми подсолнухами, со ртами, забитыми молодыми, незрелыми семечками, которые они так и не успели дожевать, они увязли перед ней, и вдруг оказалось, что они не знают, как им дальше жить.

Женщина посмотрела на них и громко рассмеялась. Голос у нее оказался низкий, бархатный, от него пошел по коже озноб.

– Вот тебе на! – произнесла, будто пропела контральто, женщина, разглядывая наших братьев. – Откуда же это вы? Такие одинаковые? Два сапога пара! Нет! – воскликнула она и наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. – Нет, вы как два сапога на одну ногу!

И опять замечательно легко и будто даже искристо (красивые искры в теплой ночи!) рассмеялась.

И так как братья оробело молчали и только изо рта у Сашки продолжали сыпаться белые недожеванные семечки, женщина, обращаясь к ним, как давним, как добрым своим знакомым, добавила:

– А у меня в вагоне тоже двое мужичков, но только они меньше вас! Гораздо меньше! Им в сумме семь лет. А зовут их Жорес и Марат; очень серьезные, скажу вам, важные они мужички! Меня же вы можете называть Регина Петровна… Вы запомните? Ре-ги-на-пет-ров-на… Ну, а вы кто?

Только теперь Сашка догадался закрыть рот, а Колька, откашлявшись и выплюнув под ноги остатки семечек, сиплым от волнения голосом сказал, что они – Кузьмёныши.

– И все? – спросила весело женщина.

Братья одновременно кивнули.

– Так не бывает! – воскликнула с улыбкой женщина, и губы ее задрожали, наверное, так она смеялась. – Может, мне называть вас Кузьмёныш-первый и

Кузьмёныш-второй?

– Нет, – сказал Колька сурово. – Мы – по отдельности – будем Колька и Сашка. А вместе мы Кузьмины, Кузьмёныши, значит.

Женщина покачала головой, будто удивляясь сказанному, волосы ее темные заволновались и частью упали на висок и на плечо.

– Кто у вас кто? Ху из ху? – как сказали бы англичане… Да нет, если вы скажете, я в другой раз все равно вас не различу, вы ведь под копирку, понимаете… Под копирку сработаны…

Братья не поняли «копирку», но сознались потом друг другу, что с ними впервые в жизни разговаривали по-инострански. Сашку даже пот прошиб, а Колька пустил струйку в штаны.

Но женщина не заметила. Она наклонилась к братьям близко-близко, от нее невозможно стало дышать, и стало слышно, как густо пахнет чем-то темным, душистым, никогда раньше не веданным. И волосы ее, волнующие, вдруг склонились к ним. Снизив голос, она сказала, как говорят только своим:

– Дружочки мои! Мы с вами встретимся, я ведь буду у вас воспитательницей! Да, да! И вы мне всегда будете говорить, кто у вас кто, и не будете меня морочить, ведь правда? Вы ведь морочите других? С вашей похожестью кого хочешь можно заморочить… А?

Братья потупились.

Она была первой женщиной, которая все сразу про них поняла.

– Прощайте, мои милые Кузьмёныши! – сказала женщина и вздохнула. – Я везу из Москвы двух таких важных мальчиков, и они долго не могут без меня жить… Мы еще встретимся? Ну, скажем, на следующей станции… Да? Вот и договорились. Счастливо!

Она ушла.

А Кузьмёныши залезли в вагон, выгрузили на верхней полке свое богатство, но почему-то уже не радовались ему.

Они сразу стали ждать, когда поезд отойдет, чтобы скорей прийти на следующую станцию.

Когда же это случилось, после многих томительных минут, женщины со странным именем «Регинапетровна» у вагона не оказалось. Не было ее и на других станциях. Так что братьям могло показаться, что ее не было вовсе. А на другой день на поезд напал понос.

6

Дристали все, весь эшелон, потому что грязные овощи не могли в таком количестве перевариться в истощенных детских желудках.

Усатый проводник лишь тяжко вздыхал, заглядывая в туалет.

Все было загажено, стульчак, и пол вокруг стульчака, и кран с водой, и раковина под краном, и полочка для мыла, и даже стены были забрызганы чуть не до потолка.

Уже добрались до тамбура, до межвагонного перехода, а кто-то ухитрился наложить в вагонную печку.

На частых теперь остановках ребятня бежала не в поле за добычей, а под насыпь, чтобы облегчиться.

Но уже и сил отбегать не было, садились тут же, у вагона или под вагоном. У некоторых, послабей, хватало только сил забраться под вагон, обратно их выволакивали.

Машинист, весь в саже, в черной засаленной робе, маленький, сморщенный, теперь, прежде чем отправляться, сам пробегал весь состав и, наклоняясь, умолял:

– Ребяточки! Милые! Да как же я поеду, если вы у меня на колесе сидите-то! Грех-то какой, не дай бог, кого подавлю! Я же фронт обслуживал, на Сталинград по рельсам, положенным на землю, составы с войском возил… По ночам возил! И ни одной аварии, считай! А тут…

Он качал седым ежиком и звал на помощь директора.

Появлялся суетливый Петр Анисимович, он перебегал от вагона к вагону и, прижимая портфель к груди, наклонялся, просил:

– Вылазьте! Ехать надо! Поезд ждет! Этак мы никогда не сдвинемся с места, вы понимаете?

Ребятня не отвечала, не двигалась. Только голые выстроенные в ряд зады издавали в ответ на слова директора громкие звуки.

Директор выпрямлялся и, глядя на машиниста, произносил, разводя руками:

– Это ведь непонятно что происходит!

– Да понятно-то, понятно, – бормотал машинист. – А что делать будем?

На ближайшей станции, а станция называлась Кубань, встали на трое суток. Временный мост через горную реку, наведенный еще саперами во время наступления, снесло разбушевавшейся стихией, а новый мост еще не пустили. Состав отвели на запасные пути.

Детей выгрузили, разместили в соседнем товарняке на сене: прежде здесь возили лошадей.

Сашка, из них двоих более нетерпеливый, нажирался вдвойне, напихивая в себя овощей, семечек, зеленых арбузов, баклажан и прочего. Он первый и слег с животом. Каждый час бегал вслед за остальными в тамбур.

Он даже изловчился на вагонном переходе у лязгающих железок пристроиться так, что у него все выливалось фонтанчиком через дырку.

Потом и выливаться стало нечему. Зеленое прошло, и желтое прошло, и черное даже. Появилась слизь, а в ней сгустки крови.

К вечеру, вместе с директором, пришли двое в белых халатах: мужчина и женщина. Всех осмотрели. И Сашку тоже. Пощупали ему живот, взглянули на язык.

Сашка лежал на подстилке на сене, бледный и молчаливый.

Уж Колька старался его расшевелить, про станцию рассказывал, которая называется станицей, и про то, что в садах растет желтый плод алыча. Прям на улицу перевешивается, рви да жри до отвала. А у насыпи еще один плод, тоже бесплатный – терном зовется. И его завались.

А косточек от всяких там фруктов у насыпи валяется столько, что земли не видно. Шантрапа, все шакалы, которые могут ходить, кладут те косточки на рельсу и долбят камнем. По всей станции звон да долбеж стоит!

– Слышно, – попытался сказать Сашка и даже улыбнулся бескровными губами. Как все из него выжало-то. Колька смотрел и удивлялся.

Но об одном, что он видел на станции, он промолчал. О странных вагонах на дальнем тупике за водокачкой. На те вагоны он набрел случайно, собирая вдоль насыпи терн, и услыхал, как из теплушки, из зарешеченного окошечка наверху, кто-то его позвал. Он поднял голову и увидел глаза, одни сперва глаза: то ли мальчика, то ли девочки. Черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один странный звук: «Хи». Колька удивился и показал ладонь с сизоватыми твердыми ягодами: «Это?» Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если, кроме ягод, ничего и не было.

– Хи! Хи! – закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга, и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона.

Колька отпрянул, чуть не упал. И тут неведомо откуда объявился вооруженный солдат. Он стукнул кулаком по деревянному борту вагона, не сильно, но голоса сразу пропали, и наступила мертвая тишина. И руки пропали. Остались лишь

глаза, наполненные страхом. И все они теперь были устремлены на солдата.

А он, задрав голову, показал кулак и привычно произнес:

– Не шуметь! Чечмеки! Кому говорят! Чтобы ти-хо!

Он шагнул к еще не опомнившемуся Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто знал, откуда он взялся, и подтолкнул в спину:

– Топай, топай отсюда! Тут не цирк, и смотреть тут нечего!

Колька летел до самой станции, зажав в горсти свои дурацкие ягоды. Не будь Сашка в таком тяжелом состоянии, он тут бы выложил ему новость да про чечмека бы спросил… Шпана, скажем, или беспризорщина, или жулье, или блатяги?.. Эти названия ему известны. А тут – новенькое, переварить башкой надо. Но Сашка был плох. Погибал, судя по всему, Сашка.

А белая женщина, та, что в халате, еще таблетки принесла и бурду во флаконе. Колька из жалости к брату половину тех таблеток сам пожрал (вот отрава-то) и бурду выпил. Одному Сашке, он понимал, с такими лечениями не выжить. Он даже градусник подержал за Сашку, но тут его засекли.

Остроглазая белая врачиха разделила братьев и велела Кольке пока пожить в другом вагоне.

Колька сопротивлялся, не уходил, даже пытался на голос взять, но все напрасно. Врачиха оказалась твердокаменной. Чуть не силой, при помощи белого мужчины, вытурила Кольку и велела не показываться возле Сашки. Не то, пригрозила, его вообще увезут.

Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом. Когда врачей не было, Сашка глуховато отвечал. Приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать.

Тогда Колька набросал между рельсов травы да лопухов и сделал себе лежак, спал под тем местом, где находился Сашка. А чтобы знал, что Колька всегда при нем, он постукивал по дну вагона камешком. Сашка ему отвечал. Так миновало

двое суток.

Их бывший эшелон, стоящий неподалеку, привели в порядок. Выскребли, отмыли, очистили, провоняли известкой да карболкой. Так что первые, кто хотел в него переселиться, не смогли там дышать, слезы катились. И потому еще сутки ждали, когда вся дрянь из вагонов выветрится.

В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному товарняку. Не поленился проделать кругаля по колючим кустам, а все из-за одной лишь подлой привычки, свойственной любому шакалу: кружить, как кружат осы, именно там, где гонят! Известно, там всегда что-нибудь да ухватишь. Пусть не ртом, а глазами… У нас и за погляд деньги берут! А у шакалов детдомовских острый глазок за вторую пайку почитается.

Но сколь ни вглядывался Колька, сидя в кустах рядом с насыпью, сколь ни вслушивался, ничего не мог обнаружить. Видел солдата, но не того, что турнул Кольку, а другого, повыше и покрупней, он вышагивал вдоль эшелона, стараясь спрятаться от пекла в узкой вагонной тени.

За свою немалую жизнь, его и Сашкину, много повидали они всяких поездов, проходящих через Томилино: санитарных с красными крестами на боках, военных с танками под брезентом, с беженцами, с трудармейцами, даже с зеками… Однажды они видели, как везли пленных фашистов, тоже в теплушках, а ихних генералов так в отдельном шикарном вагоне… Их потом по Москве колонной водили. Но этот эшелон, Колька мог поклясться, не был ни фашистским, ни беженским. Он скорей был похож на их беспризорный поезд, тоже, видать, не кормили. Так ведь шакалы и сами могли добыть себе пропитание – привычное с детства дело! А взаперти-то как добудешь?

Колька знал, как тяжко сидеть взаперти, не однажды они с Сашкой попадали в кутузку, последний раз за стибренный на рынке соленый огурец. Пока их тащили, они тот огурец сжевали, а потом сидели всю ночь и орали, так хотелось пить! Ну Кузьмёнышей хоть за соленый огурец запирали или еще за что, а этих?.. Может, они директора почистили? Может, хлеборезку скопом взяли?

Пока Колька соображал, поезд тот прогудел и поехал. Солдат последний раз вдоль состава глазом стрельнул, на ступеньку вскочил, и тут снова раздались голоса. Уже не один вагон – все вагоны. Завопили, закричали, заплакали…

Поезд покатил в ту сторону, откуда братья только что приехали, но вот какая странность – звуки и голоса из теплушек еще долго реяли в воздухе за станцией, пока не растаяли в теплых сумерках.

Но это, конечно, все Колькино воображение, потому что никто, кроме него, как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивал молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио доносило бравурный марш духового оркестра: «Широка страна моя родная…»

А потом и мы двинулись в сторону неведомого нам Кавказа.

За рекой Кубанью, которую мы переезжали в великий разлив тихим шажком по хлипкому, по вздрагивающему временному мосту, наведенному в недавние времена саперами, открылись нам затопленные сады, а потом на горизонте засветились и далекие горы. Мы ликовали, будто сделали в своей жизни великое открытие: «Горы! Смотрите, это же горы! Настоящие горы!»

Они синели, как редкие тучки на краю неба, и ехать до них, как оказалось, предстояло еще не одни сутки! Дух захватывало от сверкающих вершин, в это время нам и правда казалось, что все наши шакальи мечты об изобилии, о сытой и замечательно радостной невоенной жизни непременно сбудутся.

И забылась, стерлась странная такая встреча на станции Кубань с эшелоном, из которого к нам тянули руки наши сверстники: «Хи! Хи!»

Наши поезда постояли бок о бок, как два брата-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они – одни на север, другие – на юг.

Мы были связаны одной судьбой.

Но когда было решено, что все в поезд переходят и он отправляется, Сашке и еще двоим сказали, что им нельзя ехать, слабы, и вообще их надо госпитализировать.

Колька лежал под вагоном и, приложив ухо к полу, слушал.

Не все он понял, но главное-то сообразил: кранты Сашке.

Сперва таблетками травили, бурдой разной, а потом вывели: нельзя! В поезд его нельзя, с Колькой нельзя! Так и совсем уморят.

Колька сидел под вагоном, шептал Сашке последние новости, настропалял против белой врачихи, которая не пускает…

А Сашке на Кавказ ехать надо. Ему в этой деревне, которая зовется станицей, делать нечего. Хоть терна тут растет много и алычи много, а косточек у насыпи так целый мильон, а выжить братья смогут, лишь когда они вместе и в поезде…

Тут же Колька предложил – откуда мысли-то в голову пришли? – поменяться местами. Ночью, когда все заснут, перелезть вместо Сашки на сено, а Сашку в эшелон отправить. А когда станут отъезжать, то вскочить скорей на поезд…

Может, умный Сашка не такое бы придумал, ясное дело. Но Колька был горд своим планом: сам сообразил, как выручить брата из беды.

Но тот идею с обманом отверг. Вид у них был слишком разный. Сашку, чахлого до изнеможения, со здоровым и румяным Колькой трудно спутать. Да и ночи у них нет, поезд скоро отправляется… Надо что-то другое соображать.

Сашка помолчал и спросил в доски:

– А эта не поможет? Которая… Резина?

– Резина? – спросил Колька. – У меня резины нет, а тебе зачем?

– Да не у тебя! – крикнул Сашка изнутри. – А воспитательница… Ее же Резиной зовут?

Колька при ее имени, так исковерканном, подскочил и башкой о вагон стукнулся. В глазах искры побежали. Как же он сам-то не сообразил! Ну конечно! Кто еще может им помочь, если не эта чудотворница, восточная царица, Шахерезада!

Скорей, скорей ее разыскать надо!

– Регина Петровна… Вот как ее зовут! – сказал Колька и потер макушку. – Ты лежи. Сделай вид, что спишь, и никаких таблеток не бери, а то отравят. И везти себя не давай! А я сейчас… Я ее найду! Слышь? – И стукнул в дно три раза. Это чтобы Сашке было веселей ждать. А Сашка лишь один раз ответил. Он силы берег, да их у него и не было. А Колька бросился к своему эшелону, потому что времени у них оставалось совсем мало.

Все вагоны насквозь пробежал Колька, на полки и под полки заглядывал, но нигде не было восточной женщины по имени Регина Петровна. И никто ее не знал.

Кольку приветствовали, здоровались, кричали снизу и сверху:

– Ей, Кузьмёныш! А где твой второй Кузьмёныш?

– Ты кто из них? Ты Сашка или Колька?

– Я Петька, – отвечал он.

Колька еще подумал: а женщина бы, которая Регина Петровна, произнесла бы это по-инострански: «Ху из ху?» Непонятно, но здорово, будто кто-нибудь выругался.

В другое время Колька бы из этого текста анекдот смастерил и весь бы вагон потешил, но теперь… Дошел до паровоза, почему-то на тендер заглянул, двух мешочников там увидел, они сидели на угле и жрали яйца с огурцом. Но женщины нигде не было.

Понял Колька: пропадают они с братом. Уж и паровоз под парами, и машинист по переднему, с красным ободом, колесу молоточком стучит, смотрит небось: как оно, колесо, будет крутиться или нет…

Подбежал к нему Колька, спросил с надеждой:

– Не скоро поедем?

Седой машинист – сегодня он был не в саже, небось и в баньку парную успел сбегать – пристукнул молоточком, послушал и сказал:

– Да чего еще ждать… И так засиделись! Вот дам сигнал – и поедем. Через полчаса! Чего не успел, торопись!

А Колька ничего не успел. Брата спасти не успел. Может, ворваться в товарняк, где лежит Сашка, да схватить его: пока там сообразят, они до вагона своего добегут.

Всякие несуразности приходили в Колькину голову, но не было среди них ни одной, которая могла помочь брату. А все это от отчаяния! Не найти ему до отхода эту Регину Петровну!

Поднял он глаза – и остолбенел: прямо перед ним на путях стоит она, задумалась и смотрит куда-то вдаль, Кольку не видит. А в руках у нее – вот уж сказали бы, так не поверил ни за какие коврижки – самая настоящая папироска! Кольке ль не знать папирос: фабрики «Дукат», марки «Беломоро-Балтийский канал».

И она, Регина Петровна, потягивает папиросочку, выпускает теплый дым и сосредоточенно так вдаль глядит. Думает.

Не будь отчаянного положения, не посмел бы в жизнь Колька подойти к такой странной, красивой да еще и курящей женщине.

Но сейчас не до колебаний было. Бросился как к своей, стал объяснять, путаное объяснение у него вышло. Про понос, про порошки да таблетки, и про ту, которая белая, потому что в белом халате, и хочет она Сашку оставить, а Кольку прогнать… Как уже прогнала! А одного Сашку они тут уморят, пропадет он на этой станции. А без него и Колька пропадет. Они до сих пор потому и не пропали, что не было такого, чтобы их разделить…

Регина Петровна швырнула папироску наземь, не докурив, и сразу спросила:

– Стало быть, ты – Колька? Пошли!

Сашка не видел, как переезжали они реку Кубань по хлипкому, по дрожащему под напором свирепой воды мосту.

Все прилипли к окнам, и Колька голову высунул, чтобы все подробнее разглядеть и рассказать Сашке.

Грязно-коричневая река с ревом неслась внизу, закручивая огромные воронки и взбивая у каменных быков порушенного моста белые буруны.

Поезд шел тихо, как бы ощупью, и седой машинист с ежиком, наверное, не раз вспомнил свои фронтовые дороги, и особенно путь на Сталинград, где ехать приходилось по рельсам, положенным на голые шпалы через заволжские степи.

Деревянные сваи и сам мост несильно, но вполне ощутимо раскачивались. А если, как сделал Колька, смотреть только на одну ревущую внизу воду, то могло показаться, что мост медленно, вздрагивая и поддаваясь, опадает в глухую пропасть под ними.

Колька отпрянул, головой помотал: страшно стало.

Но река уже подходила к концу, и по бокам высокой насыпи – слава богу, переехали и не упали – пошли сады и огороды, сплошь затопленные водой.

Такого никто из ребят никогда не видывал. Силища, если столько воды в реке, что все вокруг под собой похоронила! Одни верхушки деревьев торчат!

Пришла Регина Петровна – она теперь вроде как шефство над ними взяла, потому что пообещала белой врачихе за братьями, особенно за Сашкой, следить, – и объяснила, что в жаркое время, вот как сейчас, на горах тает снег, и реки на Кавказе начинают разливаться. Кубань тоже горная река.

– Это что же значит? – сказал с недоверием Колька. – Мы на Кавказе, что ли?

Регина Петровна посмотрела на него черными блестящими глазами – могло показаться, что она думает о чем-то другом, – и ответила, что да, конечно, они уже на Кавказе. Въехали, дружок!

– А горы? – расстроенно спросил Колька.

Сашка промолчал, он был слаб. Но и он бы, конечно, спросил то же самое. Вот тебе и Кавказ – одна вода на огородах!

Но Регина Петровна улыбнулась мягко, и губы у нее, крупные некрашеные губы, дрогнули, и глаза наполнились какой-то невероятной грустной глубиной.

– Подождите до вечера, – так произнесла, наклоняясь и будто выдавая огромную тайну. – До вечера, милые мои Кузьмёныши, будут вам горы!

– А какие они? – спросил за себя и за Сашку Колька.

А Сашка лишь слабо кивнул.

– Увидите… Красивые… Нет, они замечательно красивые! Караульте, не пропустите!

Регина Петровна положила им по кусочку хлеба, намазанного лардом, американским белым маслом, без запаха и вкуса, а сама ушла. Ее ждали два мужичка: Марат и Жорес.

Сашка лизнул языком ларда, но есть не стал, а Колька на ближайшей станции выменял оба куска на целую литровую банку желтой крупной алычи. На хлеб можно было выменять что угодно.

Сашка алычу попробовал чуть-чуть совсем и медленно, с усилием произнес: «Эх, в Москве бы…»

Колька сразу понял брата, который хотел сказать, что в Москве такое богатство никому и не снилось – литровая банка алычи! – и жалко, что Кузьмёныши не могут ни похвастать, ни угостить собратьев из томилинской их шараповки!

Колька представил, как появились бы они с братом в детдомовской спальне со своей алычой! Все бы бросились просить, уставясь на невиданный фрукт, а Колька бы нехотя объяснил, что это, мол, фрукт с Кавказа, с берегов горной реки Кубани, алычой прозывается, и там ее завались: жри до горла!

И тут бы он стал угощать шакалов, оделяя всех просящих: Боне бы дал штуки три, он старший и никогда не бил Кузьмёнышей; Ваське-Сморчку дал бы пару, он всегда голодный… Только Буржую дал бы одну, он тоже как-то дал Кузьмёнышам лизнуть из ложки, когда его серенький солдат-отец приносил ему кашу в котелке и Толька обжирался у них на глазах.

И воспитательнице Анне Михайловне дал бы Кузьмёныш одну штуку. Хоть и холодная, равнодушная женщина Анна Михайловна и всегда безразлично относилась к Кузьмёнышам, вовсе не замечая и ни разу не запомнив их, но Кольке ее жалко. Все-таки ждет она свово генерала, значит, не совсем уж равнодушна, и с солдатами не гуляет, как некоторые другие…

И потом, однажды Кузьмёныши забрались в ее крошечную комнатушку в надежде чем-нибудь поживиться – и ничего, даже сухой корочки не нашли. Была какая-то баночка, желтенькая, костяная, с пудрой, которую тут же на рынке барыга жадно выхватил у Кольки, отдав за нее три картофелины. Потом Анна Михайловна всем говорила, что у нее пропала драгоценность из слоновой кости… Пожалуй, воспитательнице Колька бы отдал целых две алычи, пусть нажрется за баночку.

И вороватому директору Виктору Викторовичу дал бы алычу Колька. Он Кузьмёнышей на промысел отпускал. И усатой музыкантше… Не жалко… На Кавказе алычи много, пусть едят! Им тоже в войну нелегко. И тоже алычи хочется.

Так раздумывал Колька, а сам всю эту алычу и умял.

Пока мысленно кормил Боню, да Тольку, да Ваську, да Анну Михайловну… Брал в рот по одной, по две, а то и по три штуки! И вышло, что в мечтах-то хорошо угощать своих, все в свой живот утекло.

Отяжелел Колька, захотелось ему поспать. Однако помнил он слова Регины Петровны, что надо ему караулить горы. Если бы Сашка был здоров, они, конечно бы, лучше караулили: один спит, а другой в окошко зыркает – замечательно красивые горы ждет.

Теперь же Колька за них за обоих смотрел, но никаких гор он не видел! Взгорки будто начались, холмы, но таких холмов и в Подмосковье завались, не их высматривал Колька. Уже вечереть стало, горизонт налился синевой, и будто тучи сизые впереди набухли, а Колька разочарованно отодвинулся от окна.

Сашке, который жадно следил за Колькиным выражением лица, расстроенно протянул: «Кавказ! Кавказ! Хрен тебе в глаз!»

– Нет… Ничего? – прошептал Сашка и тоже потускнел.

«Ху из ху», – хотел выругаться Колька по-инострански, но не стал. Все-таки эти слова произносила сама Регина Петровна.

А тут и она сама объявилась и как-то странно и глубоким, низким голосом произнесла:

– Горы-то видели? Кузьмёныши? Иль проворонили? Проспали?

Колька аж подскочил, бросился к окну:

– Так нету же гор!

Произнес с отчаянием, потому что вдруг ему показалось, что вообще на Кавказе нет никаких гор, а одни лишь пустые разговоры про них.

– Ну как же, милые… Дружочки мои, Кузьмёныши! – сказала как-то задушевно и приподнято Регина Петровна и тихо засмеялась.

У Сашки под сердцем потеплело от такого журчащего ее смеха, и стало ясно, что не может не быть на Кавказе гор, если сама Регина Петровна о них говорит!

Воспитательница подошла к окну, кивнула в сторону горизонта:

– Вот, вот же они!

– Где? – Колька высунулся, и другие воспитанники стали смотреть.

– Не видите?

– Не видим! – отвечали ей хором.

– Не вижу, – сказал Колька. Но не так уверенно, потому что он не мог не знать, что Регина Петровна говорит лишь правду. Пусть курит. Пусть смолит свои папиросы, это ее дело. Но шутить по поводу Кавказских гор она так легкомысленно не станет.

Регина Петровна указала рукой на тучки, которые начали из синевы переходить в нежную розовость, и сказала:

– А это что?

– Это? – спросил ее тоном Колька. – Ну, это же…

Он хотел сказать, что это тучки, обыкновенные тучки, которые небесные вечные странники… Но вдруг понял и осекся. И уже тихо-тихо прошептал:

– Горы? Да?.. – и вдруг, как псих, закричал на весь вагон: – Го-ры! Го-ры-ы!

И все, кто еще ничего не знал, бросились к окнам и стали показывать друг другу на тучки и объяснять, что это вовсе не тучки, а так белеют, сизовеют далекие, на горизонте, вершины гор, и ехать до них еще, может, несколько дней.

И Сашка, который понял, что все они увидели, все, кроме него, заволновался, возбужденно попросил: «Покажите, покажите! Мне!» И он пододвинулся к окну, а Колька стал ему втолковывать: «Вон, вон впереди…» И Сашка, побледнев, спрашивал: «Где? Где?» – а потом тоже увидел и измученно, усталый, улыбнулся.

Вот и доехали они до Кавказа. До самых настоящих гор. И если уж чем-нибудь они хвалиться будут в томилинском своем детдоме по возвращении, то уж, ясно, не алычой или терном, которого завались на насыпи, и даже не бурной рекой Кубанью и новым, дрожащим мостом, по которому они первые из всех эшелонов проехали над страшной кипенью реки. Нет, нет!

Они сразу расскажут главное: как увидели они настоящие, в дальней сиреневой дымке белеющие тучки в высоте над горизонтом, прямо по ходу поезда и как это оказались хребты и вершины Кавказских гор.

– Ура! Да здравствуют горы! – заорал Колька во все горло, и все подхватили и стали барабанить по полкам, по стенам, стали плясать и кувыркаться через головы… Это вышло как праздник, вагон будто сошел с ума… И только за общим гамом, неуправляемым, но тем не менее стройным детским хором можно различить неизменное слово «горы».

Но ехали еще полтора суток: ночь, день и еще ночь, пока не приблизились к этим горам и к тому месту, где была их станция.

7

Разбудили их рано утром.

По вагонам пронеслось – выгружаться, не забывать своих вещичек, у кого они есть!

Усатый коротышка проводник выкрикнул про вещички и подмигнул на ходу братьям:

– Вот и добрались, шибздики, до Кавказа, можете вылезти да пощупать, с чем его едят!

Он побежал к дверям, а свернутые в трубочки флажки торчали у него из-за сапога.

Кузьмёныши посмотрели друг на друга и в окно.

Состав остановился около невысоких и пустынных гор – ни станции, ни вокзала. Сгорели во время недавних боев.

Название – «Кавказские воды» – было начертано углем на фанерке, прибитой криво к телеграфному столбу.

Вправо от железной дороги до горизонта открывалась просторная в утренней дымке долина в квадратах зеленых полей с цепочками деревьев вдоль невидимых отсюда проселков и белых, вкрапленных в эту зелень домиков, а может, и целых селений.

За долиной, в едва различимой дали, бугрились буроватые холмы, в рыжих пятнах леса, как в подтеках, а уж за ними, будто возникая прямо из воздуха, сверкали ледяными вершинами главные Кавказские горы.

Еще прежде, на каком-то полустанке, их проводник Илья, тыкая флажками вверх, дотошно объяснял Кузьмёнышам, как они, эти горы, прозываются, какая – Казбек, а какая – Эльбрус, с двумя головами и одним туловищем, словом, тоже близняшки.

Вспомнилась сразу папиросная пачка в руках красавца полковника с зигзагом изломанных вершин, ничуть не похожих на эти горы.

Они виделись еще с дороги как бы сквозь кисею, реальные, но не настолько, чтобы ощутить их реальность.

В ясное сегодняшнее утро различались все складки ущелий на серых склонах, как и ледяные натеки, сходящие белыми кривыми штрихами вниз.

Горы были рядом. Они казались даже ближе рыжих лесных холмов, над которыми нависали.

Но уже становилось ясно, что рыжие холмы за долиной далеки, даже очень далеки, а уж те вершины, что парят над ними в небесах, и того дальше.

Влево от железной дороги, от не существующей сейчас станции, прямо от рельсов поднимались пологие и безлесые взгорки, выгоревшие на солнце до желтизны. На одном из них белела колоннами ротонда, неведомо каким случаем уцелевшая в войну.

В направлении этой ротонды и повели детей, выстроив в колонну, по пять человек в ряду. Но сразу же выяснилось, что никто строем ходить не умеет, да и не хочет, а шли кучками, сбившись по детдомам, и напоминали каких-то беженцев при отступлении.

В то время как передние вслед за директором втягивались в просторное ущелье, задние еще копошились возле вагонов и никак не могли от них оторваться.

Пройдя неширокой, но утоптанной дорожкой между невысоких горок-горбов, ребята вдруг очутились на обширной площадке, прикрытой от станции этими горками.

Тут белели развалины бывшего санатория, и прямо посреди кирпича и мусора на земле все увидели странные бетонные ямки квадратной формы, наполненные водой.

Вода в них пузырилась и кипела, легкий парок реял над площадкой, а от воды несло тухлятиной.

– Фу, набздели! – пронеслось. И стали повторять эту шутку и громко смеяться, сбрасывая с себя напряжение первых тяжких минут на незнакомой земле.

Подбежал запыхавшийся Петр Анисимович, который челноком сновал по колонне взад-вперед, и, размахивая своим портфелем, попросил остановиться.

Но все и так стояли, не зная, куда идти дальше. Оказалось, что они пришли.

Указывая на ямки, Петр Анисимович сказал:

– Серная вода! Не слыхали! Ну, вот… Значит, даже полезно, если кто хочет помыться…

Ребята молчали. Подходившие сзади еще продолжали гомонить и, ничего не слыша, толкали передних и спрашивали: «Это что, наш дом, да? Мы прибыли, да?»

– Надо это… Надо лезть… Раздеваться и смыть всю дорожную грязь, – добавил чуть громче директор и покосился недоверчиво в сторону ямок. Было ясно, что и он не знал, как в них моются.

– Сам и лезь! – сказали в толпе громко. – Мы чево, дураки, что ли! Или нас сюда на суп везли?

– На суп? – не понял Петр Анисимович. – Почему на суп? – Он всматривался в лица ребят, будто искал хоть в ком-нибудь поддержки.

Но лица, как на подбор, были усмешливые, любопытствующие, в крайнем случае недоверчивые или испуганные.

– Это ведь непонятно что происходит! – произнес он, вытирая лоб. – Почему на суп? А?

– Потому что вареные, как раки, будем! – сказал кто-то, не скрываясь.

– Это же кипяток! Вон как бурлит!

– Ага, – пробормотал директор и вздохнул. – Серная вода… Никогда не видели… Это понятно, в общем…

Петр Анисимович посмотрел на ямку и, потоптавшись, направился к ближайшей из них.

Не оглядываясь больше на ребят, даже словно забыв про них, он стал медленно раздеваться. Снял пиджак, сложил его вдвое, наружу подкладкой, а под него, как какую-то драгоценность, портфель спрятал. Стащил брюки, рубашку, майку и почему-то в последнюю очередь ботинки.

В одних трусах, сатиновых, темных, длинных, до колен, он медленно, покряхтывая и вздыхая, подошел к ямке. Потрогал воду ногой, рукой пощупал – и все не решался окунуться. Как царь в «Коньке-Горбунке» перед кипящим котлом, где потом и сварится!

Вдруг, охнув, Петр Анисимович скользнул по краю прямо в воду, брызги полетели на ближайшие камни.

По толпе, сгрудившейся вокруг такого цирка, пробежал смешок. Раздались голоса, хохот, шутки.

– Это ведь непонятно что происходит! – произнес кто-то тоном директора.

– Очч-чен-но понятно! Сейчас мясной бульон будет!

– С наварчиком!

– Суп по-директорски!

– А может, братва, спасать пора: вас-то, придурков, много, а директор у нас один!

– Бросьте ему портфель! Он без портфеля утонет!

Кричали разное, а Петр Анисимович плескался и никакого внимания на ребят и на их реплики не обращал.

Он фыркал, чесал под мышками, с головой окунался, сплевывая воду фонтанчиком изо рта, и всем своим видом изображал, как ему приятно бултыхаться в тухлой ямке.

Шуточки постепенно смолкли. Недоверие уступало место любопытству. Самые бедовые приблизились к ямкам и, хихикая, попробовали воду. И тут же отскочили. А самого любопытного, зазевавшегося у края, столкнули прямо в одежде. И он, уже не пытаясь вылезать, продолжал плавать под хохот и ободряющие крики из толпы.

Тогда полезли сразу несколько ребят, с оханьем и аханьем, будто пугаясь тухлой воды, но ясно было, что ничуть они не боятся, потому что с ходу начали бузить: брызгаться, плескаться, пускать изо рта фонтаны…

Тут и остальных прорвало. Поняли наконец, что никакой суп им не грозит, а это баня, да веселая такая баня, развлечение, словом.

С ревом, с криками «ура» бросились занимать скорее ямки, которых уже не хватало, и началась потасовка и обливание друг друга водой.

Только девочки жались в стороне, с боязнью и любопытством наблюдая за общей сварой.

Но появилась Регина Петровна и повела девочек за собой.

За развалинами санатория, на краю поляны, дымился большой квадратный бассейн. Его почему-то сразу не заметили. Сюда и привела Регина Петровна девочек. Быстро разоблачила догола двух крепеньких молчаливых, суровых мальчиков лет трех и четырех и по очереди опустила в бассейн. Девочки, привычно повизгивая, полезли следом. Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны.

Полтысячи детей – теперь заметней стало, что это дети, – самые обыкновенные дети, бесились среди развалин, дорвавшись до купания. Они ныряли в свои и чужие ямки, брызгались, расплескивали теплую воду на кирпичи. Лишь Петр Анисимович, одевшись и зачесав свои редкие седеющие волосы, посиживая в стороне, прижав портфель к коленкам, поглядывал с опаской в сторону гомонившей ребятни.

Рядом, присев на корточки, покуривал козью ножку с независимым видом старенький машинист с белым ежиком волос. Это он показал директору необычную баню. Не впервой, наверное, бывать ему здесь.

С трудом извлекали купальщиков из ямок, чтобы снова построить в колонну.

Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться в воде, и не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели лезть, уж очень противно пахла вода. Кишки выворачивало. Но потом понравилось, да и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, выложенную цветным голубым кафелем.

Братья друг друга потерли, вместе окунулись, решив посмотреть, как они выглядят под водой. Но уцепиться было не за что, они сразу же всплыли. Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали одеваться. Им времени хватило, да и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде.

В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине колонны и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось, что их отовсюду видно и смотреть на них можно сколько влезет. И это не надоедало.

Петр Анисимович, не обращая внимания на сидевших в ямках, выкликнул всех по списку.

Выяснилось, что за время дороги потеряли они семь человек: кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал, не без этого.

Той же тропой вернулись они к железной дороге и мимо станции (теперь понятно стало, отчего это место звалось «Кавказские воды», хоть надо бы назвать, наверное, «Тухлые воды») начали спускаться в долину.

Шли, растянувшись по широкой и пыльной дороге между зеленых полей. Пытались запомнить Кузьмёныши, что и где растет, на всякий случай, конечно, не очень-то веря, что может пригодиться, ведь неизвестно было, куда и сколько им идти.

С небольшим перерывом – во время перерыва бросались шарапать что попадало под руку, но делали это уже лениво, отъелись за дорогу, – брели они до тех пор, пока не показались белые домики посреди зелени.

Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странной пустынной улице станицу, которая звалась Березовской, хотя никаких берез тут не росло.

За станицей лежало поле с торчащими вверх каменными столбами ростом повыше Кузьмёнышей, их было много, серого цвета, похожих на надолбы, что ставили под Москвой против фашистских танков. Видать, и тут оборонялись, подумалось обоим братьям, – вон сколько камней навтыкали! Но взгляд их был сейчас устремлен вперед, на дорогу, которая, судя по всему, кончалась.

Километрах в трех от станицы встали. Прямо у начала зеленых гор за деревьями были видны строения: один дом белый двухэтажный, два других – по одному этажу, но длинные, похожие на бараки.

На столбике у входа за зеленую колючую ограду висела надпись: «СИЛЬКОЗТЕКНЮКОМ».

Слово это было зачеркнуто мелом крест-накрест, а внизу торопливой рукой дописано: «Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные».

Петр Анисимович озабоченно оглядел подтягивающуюся колонну. Прижимая к себе портфель, прочитал надпись на столбике, покачал головой и повернулся к ребятам.

– Ну вот, мы на месте, – сказал и вытер пот со лба. – Значит, здесь мы будем жить. Дисциплина, значит, и все прочее, сами понимаете… Не шебутить. Далеко не бегать, искать вас некому… Пропадете.

В это время где-то за горами бухнуло и раскатилось протяжным громом. Ребята подняли головы, но никаких туч не было и в помине.

Петр Анисимович тоже посмотрел вверх, хотел произнести свое: «Это ведь непонятно что происходит», – но сказал другое:

– Мины рвут… Которые после фашистов. Ладно, – и опять ладонью вытер пот. – Значит, теперь вам укажут, где спальня, а где столовая, туалет… Можете быть свободны.

Судя по всему, это была как бы вступительная речь в честь их приезда.

Замороченный человек, руководивший до сего времени каким-то складом, иначе он не умел говорить. Да и сказать ему было нечего, в такой роли он сам оказался впервые. Велели отвезти детей, он их и отвез.

Прежде возил картошку в ОРСе, мыло возил, растительное масло в бидонах. И это было главное, что он умел делать. Он слыл приличным в районе хозяйственником.

В портфеле у него, как прежде накладные, лежали какие-то документы на детей. В них надо было еще разбираться. Если, конечно, достанет времени.

Произнеся «можете быть свободны», Петр Анисимович махнул рукой в сторону домов, полагая, что прибывшие так и бросятся скорей занимать свои железные койки. Но он ошибся. Колонна как стояла, так и продолжала стоять. Все смотрели на дом и чего-то ждали.

Директор уже успел заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно по-разному, но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же.

И теперь толпа напоминала большого колючего ежа. Ни шутки, ни смешка, ни даже какого-нибудь звука не раздалось.

Неосознанная тревога, возникшая во время долгого пешего пути от станции, с приходом на место не исчезла и не растаяла, а стала даже сильней.

Да еще эти непрекращающиеся взрывы, они будоражили ребят, напоминали им о чем-то, о чем пора уже было забыть. Дети прибыли на поселение для мирной жизни, и благословенный горный край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре.

Я помню ощущение тревоги, которое возникло в нас по пути от станции сюда, к подножию лесистых гор.

К поезду, к вагону да и к дороге мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.

Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала, и мы были внутри ее потока, плоть от плоти – дети ее.

Теперь нас уводили по твердой, в глубоких трещинах дороге, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблоки и щерились, уставясь на солнце, черные, осыпавшиеся наполовину подсолнухи. И не было ни одного человека. Ни

единого…

За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом.

Поля дозревали. Кто-то их засевал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?..

На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил…

Отчего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? Отчего даже здание техникума со скоропалительной дурацкой дощечкой, напоминавшей нам о нас, о нашей одинокости, было пустынным, без единого человека?

А мы и правда сами напоминали зверят, брошенных для какого-то невероятного эксперимента в пустыню: «500 ч. Беспризорные». Так была обозначена наша порода. Только что означало «ч»? Чечмеков, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?

За нашей спиной в горах снова гулко взорвалось, и девочка, в самой середине колонны, произнесла – мы услышали – «хочу домой». И заплакала.

Все зашевелились, оглядываясь и вслушиваясь, как ее утешают. Ей говорили:

– Ну, чего ты! Чего испугалась, смотри! Вот наш дом! Видишь? Здесь теперь все наше – и дом, и речка, и горы… Мы приехали, чтобы здесь жить!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/pristavkin_anatoliy/nochevala-tuchka-zolotaya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити